
ОБ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ

(Методологические заметки)

М. Солонино

Мне кажется, что основная задача работы над современным языком — это определение границ стандартного языка, языка всего печатно-письменного и публично-устного общения. Это — одна из самых серьезных и нелегких задач культурной революции и, несомненно, самая значительная и неотложная задача лингвиста, работающего над русским языком, да и над другими языками Союза. И мне думается, что оценивать то, что сделано в изучении современной речи, и планировать будущую работу в этой области, надо, все время помня об этой основной задаче, исходя из требований, которые вытекают из нее. Но прежде чем рассмотреть, что и как сделано в этом вопросе и что нужно сделать, необходимо указать на бесспорные, даже аксиоматические черты языковых процессов в эпохи социальных потрясений, в том числе и в эпохи революционные. Таких черт две: первая — смешение диалектов, причем смешиваются диалекты как территориальные, географические, так и социальные.

¹⁾ В. И. Ленин. Речь на III Всероссийском съезде ВКСМ. Сочинения, 2 изд., XXV, стр. 387.

Это смешение особенно важно в той части, где происходит смешение других диалектов с так называемым «литературным языком», с языком, который обычно принимается за стандартный. Обычно происходит ломка канона, умирание в нем одних элементов языка, внедрение в него, прочное или летучее, диалектических элементов. Вторая черта — ускорение языковых процессов. Но здесь необходимо сделать оговорку: если для процесса смешения мы можем указать некоторые (правда, немногочисленные) случаи из области грамматических явлений, то второй процесс пока наблюдался только в лексике и в семантике, т. е. в необычайно быстром, калейдоскопическом появлении в языке новых слов и выпадении из языка старых и в изменении, часто коренном, значений слов языка дореволюционного.

Если отвлечься от причин, вызывающих явления обоих этих рядов, то можно их объединить для краткости в термин «изменение канона». Это изменение, очевидно, в зависимости от силы потрясения социального субстрата, может быть или только сдвигом канона в ту или иную сторону, или же превращается в распад канона, умирание данного диалекта, замещение его другим диалектом того же языка или даже (для нашей эпохи случай невозможный) заменой его диалектом другого языка (классический пример — возникновение английского языка). Как регистрирует и использует эти априорные для науки предпосылки наш ученый аппарат?

Можно назвать только одну большую работу, посвященную указанным вопросам, — «Язык революционной эпохи» проф. А. М. Селищева ¹⁾. Наблюдения автора охватывают период от 1917 по 1926 год и дают материал не меньше 1500 зарегистрированных слов. Я уверен, что проф. Селищев согласится с тем, что заглавие его книги совсем не покрывается ее содержанием. Работа посвящена одной только лексике, и частично морфологии, так называемым формам словообразования (суффиксам). Из фонетических явлений автор остановился только на необычном для литературного языка стандартном произношении твердого согласного перед гласной «в — е» (например, *спэу* вместо *спеу*, или *нэпач* вместо *непач*), затем на произношении мягкого *ц* в словах на *ция* (как революция, конференция), на оттяжке ударения (с соответствующими ему в русском языке изменениями) в словах: *мóлодежь* (вм. молодёжь), *звóнит* (вм. звонít) и в других формах настоящего времени этого глагола. Между прочим, последнее явление автор мог бы показать и на других примерах, например, *мáстерство* (вм. стандартного дореволюционного мастерствó). Но всего этого, понятнó, слишком мало, говорить об изучении сдвигов в фонетике нашего языка.

Так же дело обстоит и в синтаксисе. Синтаксис нашего языка, в отличие от дореволюционного, показан проф. Селищевым только в полудесятке новых штампов, — например, «Революция есть революция» или «Есть соглашение и соглашение» и несколько других. Этого еще мало, чтобы говорить об изучении сдвигов в синтаксисе. Таким образом было бы на много правильнее назвать эту работу «Словарем революционной эпохи», тем более, что морфологические словообразовательные процессы с полным правом могут найти себе место в словаре.

Хотя неверное заглавие книги и не есть момент чисто формальный, а указывает, несомненно, на неправильную концепцию языкового процесса, но все же гораздо важнее то, что работа произведена без совершенно необходимой дифференциации регистрируемого материала. Верно отмечает это т. Данилов (ст. «К вопросу о марксистской лингвистике» в журнале «Литература и марксизм», 1928, книга VI, стр. 127): «Описывая язык революции, автор сваливает в одну кучу как язык газеты, научной прозы, художественной литературы, так и разговорный язык, благодаря чему функцио-

¹⁾ М. «Работник просвещения». 1928 г.

нальная роль отдельных типов языка стирается: какая-нибудь «пустоголовка» или «шуйца и десница», вышедшая из-под пера газетчика, вряд ли будет характерна для разговорной речи».

Если бы довольно обильный лексический материал, собранный автором, был дифференцирован по этим под-диалектам, несомненно, он не был бы так аморфен, хотя и оказался бы довольно скудным для разрешения любой задачи, во всяком случае недостаточным для каких бы то ни было обобщений. В то же время совершенно несомненно, что язык революционной эпохи должен изучаться по этим отдельным своим секторам, так как только в них мы можем обнаружить различную стойкость слов, больший или меньший консерватизм и т. д. От отсутствия этого расчленения происходит то, что проф. Селищев принужден был ограничиться замечаниями об особой эмоциональности революционного языка, о создании речевых штампов и потере последними их эмоциональной выразительности. Но ведь это положения частью давно известные, частью неверные.

К этому пестрому нерассортированному материалу автор применил неправильный методологический прием: разделил его на три категории по трем функциям: коммуникативной, эмоционально-экспрессивной и номинативной. В предварительном объяснении была еще и четвертая категория: эстетическая. Но в дальнейшем изложении она исчезла, оставшись только этикеткой без применения. Автор упустил то совершенно очевидное положение, что огромное большинство знаменательных слов любого языка могут служить одновременно и для общения (коммуникации), и для выражения чувства, и для названия. И чаще всего в разговорной речи эти функции осуществляются именно одновременно, неразрывно слитые в одном слове или выражении. Оттого происходит такой курьез, что мы находим слово *даешь* и в разряде слов эмоциональной функции, и в разряде слов коммуникативной функции. Это с точки зрения автора должно казаться ошибкой, а между тем совершенно правильно. Кстати, это слово играет некоторую номинативную роль в объявлениях наших газет, в названии недавно появившегося журнала «Даешь». Таким образом эта попытка классификации не дает ничего, а только путает материал. Дело в том, что это членение в лексической работе и дать ничего не может. А работа проф. Селищева — чисто лексическая работа. Это материал для ненаписанного еще словаря.

Я называю эту работу не словарем, а только материалом для словаря не только по основаниям, приведенным выше, но и потому, что одно из основных требований, которое мы предъявляем к словарю, — это полнота. Никто не станет отрицать, что даже для времени, охваченного работой проф. Селищева, она не полна.

Аналогичная работа, проделанная André Mazon на материале 1914—1918 гг. — «Lexique de la guerre», охватывала уже около 800 слов. В ней автор сознательно ограничил свою задачу словарем, не прибегая к искусственной классификации и тем самым не вводя исследователя в заблуждение.

Эти словарно-подготовительные работы на девять десятых сводятся к регистрированию неологизмов, понимаемых или как новое звуковое слово или как радикальное изменение значения старого слова.

К той же категории работ, но без этикетки «революционный словарь» принадлежит и небольшая заметка Габо в кн. V журнала «Родной язык в школе» за 1927 г. — «Новые слова в русском языке». Заметка представляет некоторый интерес по той классификации неологизмов, которую дает в ней автор.

Насколько я могу судить, эта классификация прошла в нашей специальной литературе незамеченной. Материал по вопросу о неологизмах и в нашей и в заграничной печати очень скуден, и я считаю целесообразным

привлечь к ней внимание читателей. Эта классификация состоит в сущности из четырех отдельных классификационных рядов, не сводимых один к другому. *Principia divisionis* их таковы: для первого ряда (неологизмы детские, школьные, профессиональные и т. д.) — это среда, в которой они образовались. Для второго ряда (словарные, морфологич. и т. д.) — *principium divisionis* их — внутри-языковые формальные или семантические отличия от прежнего языкового материала. Для третьего ряда (сознательные и бессознательные) — способ их образования. И, наконец, для четвертого ряда (изменения в культуре, специализация и т. д.) — это цель или причина создания каждого данного неологизма. Прежде всего, можно очень многое возразить против членов деления внутри каждого ряда. В первом ряду рубрика «детские неологизмы» не должна стоять в ряду с другими, а противопоставляться всем другим рубрикам этого ряда. Несомненно, что рубрика того же ряда «местные» перекрывается другими рубриками.

Далее, совершенно неясна разница между словарными и морфологическими неологизмами. Не менее расплывчата рубрика *языковое неуменьше*. *Экономия сил* явно осуществляется не только в рубрике «экономия сил». Деление на сознательно сфабрикованные и бессознательно появившиеся неологизмы — бесполезно, так как это деление фактически обосновать возможно в очень редких случаях.

Проф. Селищев в своей классификации прошел мимо социальной обусловленности языка. А Габо смешал в одну кучу моменты возрастной, профессиональной, географической и т. д. Оба они не учли того, что основным *principium divisionis* семантической и языковой вообще классификации должен быть момент классовый. Этот коренной недостаток лишает классификацию проф. Селищева всякого значения, а классификацию Габо превращает только в материал, пригодный для будущей рабочей классификации.

Так обстоит дело изучения революционного и пореволюционного словаря.

Что же сделано для фонетики и грамматики?

Возможно, что прав проф. Поливанов, когда он утверждает, что «лексика (с фразеологией) — единственная область языковых явлений, где самое содержание культуры (данного коллектива в данную эпоху) отражается более или менее непосредственно. Вот почему здесь быстрее всего (даже в пределах языка одного и того же поколения) может обнаружиться проекция социально-экономической мутации. Естественно поэтому, что те исследования языка современности, которые успели уже выйти в свет, имеют объектом прежде всего и почти исключительно именно словарь (т.-е. лексику) революционной эпохи» (Ст. «Русский язык сегодняшнего дня» — «Литература и марксизм», 1928, кн. IV, стр. 171).

В таком случае понятно, что с изучением фонетических и грамматических сдвигов в современном языке дело обстоит еще хуже, чем со словарем. В фонетике и в грамматике, современного русского языка, в сущности, у нас нет ничего, кроме нескольких бездоказательных положений.

Фонетическими положениями мы обязаны тому же проф. Поливанову. Он отмечает в языке старой интеллигенции произнесение во многих словах «твердого парного согласного + э (е); среднего л в названии ноты ла (и в ряде других иностранных слов), звуки *oe* типа немецкого *ö*, французского «*ei*» в слове *leur*, в слове *блефф* и т. д.» (цитированная выше статья, стр. 179).

По поводу этих положений нельзя не согласиться с Р. Шор, когда она говорит: «Не трудно доказать, что фонетические признаки, выдвигаемые проф. Поливановым, не характеризуют речи всей той общественной группы, или, точнее, того ряда общественных групп, которые принято объединять в понятие «интеллигенция». Это черта, свойственная лишь «верхним» слоям

этой аморфной и расплывчатой группы» («О неологизмах революционной эпохи» — «Русский язык в советской школе», 1929, кн. I, стр. 55). Но нельзя не отметить, что произношение твердых (вм. мягких) согласных перед э (е) в ряде слов — явление значительно более распространенное, чем два других, о которых идет речь в вышеприведенной цитате. Во всяком случае все эти фонетические явления ни в каком случае не могут служить различительным знаком речи пореволюционной от речи дореволюционной.

Что касается до грамматических изменений, то здесь мне опять придется сослаться на ту же статью проф. Поливанова. Он совершенно правильно утверждает, что основные языковые изменения (особенно в революционную эпоху, прибавлю я от себя) происходят благодаря тому, что изменяется человеческий материал, говорящий на этом языке, так сказать, «субстрат» языка. Когда этот субстрат расширяется, стандартный язык попадает в руки масс, они начинают говорить на нем по-иному. Кроме этой социальной линии расширения, есть еще вторая — национальная. «Общерусский стандарт стал языком советской культуры, и от этого не могли не измениться как субъективное отношение к нему, так и объективно-констатируемая значимость на территориях наименьшинств Союза». На той же стр. 178 внизу мы читаем: «А из наличия указанного двойного расширения субстрата лингвист имеет право априорно утверждать, что темп развития языковых новшеств данного стандарта должен чрезвычайно усилиться, и, конечно, это относится буквально ко всем элементам языка (а не только к лексике с фразеологией)».

Это — положения, которые можно и даже должно «утверждать», но которые требуют опытного доказательства. Только наблюдаемые, зафиксированные и проанализированные в деталях развития эти положения имеют не только ориентирующее, как теперь, но и практическое значение.

Каков наиболее важный участок языковой работы, который должен иметь в виду лингвист в своих теоретических исследованиях, мы уже видели, — это выяснение границ стандарта языка. Но стандарт меняется. Был какой-то стандарт дореволюционный и должен быть пореволюционный. Я говорю «должен» на тех же априорных основаниях, как проф. Поливанов в цитированной выше фразе. Но дореволюционный языковой стандарт, был, несомненно, существовавшей социальной величиной. Его знал учитель гимназии, правивший тетрадки, корректор, правивший рукописи, так называемый «человек из общества», которого еще в детской учили говорить «нравится, а не идрывается», что про себя нельзя сказать «кушаю» (Е. Поливанов — «Задачи социальной диалектологии русского языка», стр. 75). Но все, знавшие этот стандарт, знали его клочками. Это были навыки и только навыки, очень часто даже противоречивые и неудобные.

Перед нами теперь благодарнейшая и труднейшая задача выяснения возможного стандарта, а затем постепенного введения его. Совершенно очевидно, что в этом стандарте расстояние между речью книжной и устной должно быть доведено до возможного минимума, расхождение между орфоэпией и ее тенью — орфографией по возможности уничтожено и т. п. Но такой стандарт есть понятие условное. Ясно, что язык, развиваясь, перешагнет очень скоро через условную грань, и стандарт перестанет совпадать с реально-употребляемым языком. Да в сущности не будет никогда ни одного момента, когда бы это совпадение осуществилось. Но это ни в какой мере не подрывает необходимости постоянной работы над стандартизацией языка. Из этого только следует, что эта работа должна углубляться и расширяться. Углубляться — т. е. должны быть изучены тенденции языка. От них должны быть протянуты нити к явлениям порядка социального. Мы со временем, несомненно, сможем предвидеть общие контуры развития языка так же, как мы начинаем видеть контуры явлений, которые являются для

языка субстратами явлений социальных. Расширять изучение стандартного языка — это изучать диалекты и языки, которыми наш стандартный язык окружен, от которых он питается. В этом, пожалуй, основное оправдание изучения диалектов. Я, понятно, говорю здесь о диалектах и территориальных и социальных.

Но, кроме расширения синхронического, необходимо расширение изучения языка диахроническое. Дело в том, что для изучения тенденций языка необходимо изучить его изменения. Эти изменения воспринимаются только посредством сравнения. Для сравнения же необходимы минимум наличия двух членов сравнения. В нашей работе эти два члена сравнения — два стандарта, о которых говорилось выше. Второй стандарт ведь искомое. Но дело в том, что стандарт нашей эпохи должен быть необычайно близок к тому, что мы имеем в языке нашей советской интеллигенции, на какой-то большой процент состоящей из вчерашних рабочих, прошедших кто через рабфак, а кто и самоучкой.

Если бы мы могли сфотографировать один языковой момент по всему лицу Союза, мы были бы близки к установлению стандарта. Но так как такая языковая фотография — дело несбыточное, то нам надо устанавливать этот стандарт по частям. Может быть, надо начать со словаря, может быть, — и это, надо думать, правильнее, — с синтаксиса. Попутно должно идти сличение добытого с старым образцом. И вот, не только потому, что это работа громадной методологической и просто технической трудности, но и потому, что она должна давать быстрые результаты, она не под силу одному человеку и даже небольшой группе. Это дело большого и авторитетнейшего учреждения. Мне кажется, такая работа должна производиться в двух направлениях, о которых я уже говорил. Изучается дореволюционный язык и современный. Как это, может быть, ни странно, но несомненный факт, что наш классический литературный язык недостаточно изучен, даже для установления его как стандарта прошлого поколения. Разработана только фонетика. Но ни словаря, ни синтаксиса нет. Словари не кончены или устарели, как Даль. Синтаксис, который для нашей цели должен дать полный перечень (с анализом) типов словосочетаний, только намечен Шахматовым и Пешковским. Таким образом для дореволюционного языка мы также не имеем четко ограниченного стандарта. Он также в какой-то степени — искомое. Но он — искомое не только потому, что материалы не полны, но потому, что они социально не дифференцированы. Не заплативши этих долгов, мы не сможем продвинуться вперед. А насколько нам нужно придать четкие контуры нашему языку, овладеть им, про то знают больше всех школьные работники. Это одна из основных задач культурной революции.